

Красиков В.И.

## НЕПРИКАЯННОСТЬ

Самый могущественный человек тот,  
кто стоит на жизненном пути одиноко  
Г.Ибсен

Мы часто сетуем: все не так, а "как надо" – это мы часто не можем четко выразить: ни себе, не близким. Неоднократно замечаем – в разных ситуациях: встречи ли с другом, которого давно не видели, случайным попутчиком (перед которым и открываться то сподручнее, потом то, как правило, уже не увидишь), в общении с близкими – не сказали, что хотели бы сказать, опять все шло по сценарию Большой Банальности и того, "что в этих случаях делают". Как всегда обходимся дежурными, ритуальными фразами, боимся раскрыться, показаться смешными или неуклюжими. Что-то главное, значительное носим в себе, не давая ему выплеснуться наружу. Ведь при произнесении в ситуации нормально-обыденной, обычной, когда день на дворе и везде озабоченно снуют люди, это нужное, это значительное, не суетливое – покажется напыщенным, искусственным, вымороченным. Слова, которым следует звучать серьезно и страстно, непременно прозвучат в наших устах как-то затерто и пошло. Добавить в них пафос и чувство – это уж совсем вступить на тропу лицедейства, а его и так хватает в нашей жизни. Так и получается, что, желая передать значимость и основательность своего расположения, мы скорее доверяем рукопожатиям и глазам, нежели чем словам. Почему же мы зажатые и не умеем передать друг другу свое взаимопонимание, расположение, духовную тягу друг к другу?

Обременительно, поскольку опасно. Опасно, поскольку может стать обременением зависимости: зная "тебя раскрывшегося" человек получает ключ к возможности влиять на тебя прямо (давя на знаемые в тебе струны) либо косвенно (страх распространения интимной информации другим). Страх нас отчуждает друг от друга. Мы не верим уже никому, даже ближайшим. Лишь алкоголь или экстремальная ситуация заглушают в нас боязнь самообнажения. Но все же дело тут не только и не столько в страхе. Страх преодолим, но вот самоотчуждение как *необходимое дистанцирование от себя*, залог рефлексии – это онтологически непреодолимое условие самоформатирования. И оно задает неприкаянность.

Жизненный ритм наш стремителен, калейдоскопичен множественностью мелких забот и дел. Это создает иллюзию насыщенности, событийной плотности нашего существования. Что-то от нас нужно другим, нечто и мы хотим от своего окружения. Между

тем подобное существование своими целями мало чем отличается от смыслов броуновского движения. Может главная цель этой нескончаемой социальной круговерти, хитрость объективного "Социального Разума" – скрыть от людей их неприкаянность?

Конечно, мы говорим о современном, самостоятельно мыслящем, способном отстраненно смотреть на себя и свое окружение, человеке. Такой человек рано или поздно начнет понимать ту истину, что он по-настоящему нигде не укоренен, не имеет какого-то постоянного места в строе мироздания, обществе, своей среде. Надо пройти все возрастные чарованья, дабы также придти к мысли, что твоя нужность другим всегда временна и относительна, зависит только от твоего соответствия их потребностям и представлениям. Ты нужен только себе.

Метафизическое одиночество как постоянное осознание неприкаянности не должно быть ущербным чувством. Напротив, оно скорее является подтверждением уникальности этого-вот сознания. Самосознающий человек должен культивировать свою неприкаянность, сознание того, что его никто и никогда *полностью* не поймет: ни родные, ни любимые, ни друзья, ни Господь. Он должен гордиться этим, как бесспорным аргументом своей непереводаемости *как духа* в прокрустово ложе коммуникации. Даже мифа "понимающей" ее разновидности.

Нет нужды говорить о роли разных форм социальной, психологической коммуникации в нашей жизни. И было бы глупым отрицать ее жизнеобразующее качество. Что мы вне общения: семейного, дружеского, социально-ролевого, социокультурного? Вроде бы и "ничто"? Да, если в мысленном эксперименте взять и вырвать нас из нашей среды, что частично и происходит в реальной изоляции людей от общества в местах лишения свободы (хотя и там возникают муляжи-заменители лишенного).

Однако именно наша-то уединенность, наша-то самость и остается в этом "вне". Мы и сами-то толком себе часто не можем прояснить, что есть мы сами. Мы есть постоянное ускользание от себя и всегда сверх того, что себе же о себе говорим в мысленном проговаривании-самоанализе. Чего уж говорить, чтобы мы могли передать то, что сами не знаем, не ведаем – поскольку всегда изменяемся – другим, даже близким нам людям.

Человек может внешне, видимо, быть органичным элементом сложной системы социальных взаимодействий и общения, но как сознание, метафизически, он неприкаян. И это позитивно. Это легитимация его личности, подтверждение его духовной состоятельности. Но начальное осознание метафизической пустоты в отношениях с окружающими именно как сознания, того, что тебя не только не хотят, но и просто *бытийно не могут принять и понять*, часто воспринимается как обвалившееся несчастье, метафизическая

катастрофа. Часто это трактуют как доказательство радикального одиночества современного сознания.

Это конечно не так. Человек общается и живет. Он счастлив как поведенческое существо, член сообществ. Это один срез коммуникации. Но есть предел. Благодетельный предел. Граница, защищающая "я" от вторжения, где оно и возводит себя. Здесь запретная территория – территория духа и дух заботится о ее недоступности. Внешне же дело кажется таким образом, что метафизическая коммуникация в принципе невозможна. И это правда.

Обратимся к наиболее значимым для человека формам общения, к эмоционально, личностно наиболее проникновенным связям с другими людьми – дабы убедиться: принципиально невозможна так называемое "духовное общение", "метафизическая коммуникация" как взаимопонимание разных сознаний. Человек как *самосознание* сущностно неукоренен ни в каком другом и неприкаян. Что, собственно, является и достаточно неприятной действительностью, приносящей большое количество негативных впечатлений и состояний, но и эта же самая оторванность от других на этом же уровне есть условие и сертификат высших возможных качеств самосознания – его самородности и нестандартности.

Наверное, лучше начать с тех форм людских привязанностей, которые являются в своих так сказать "высших", "правильных" или "полных" формах, по общему мнению (или умолчанию), наиболее бесспорными подтверждениями возможности того, что мы собираемся, напротив, отрицать: "духовное общение", "метафизическая коммуникация". Это дружеские привязанности, любовь в ее наиболее значимых проявлениях (к возлюбленным, детям, родственникам, Богу). Сильнее чувств и взаимопроникновения человеческих натур трудно найти.

Дружба, дружеские обязанности в их классически трогательном, ярко-эмоциональном, чистом, искреннем виде есть явления преимущественно возрастные. В большинстве своем это феномен молодости. Что такое дружба? Ее можно дефинировать следующим образом. Дружба – это термин, обозначающий устойчивые и взаимообязывающие приятельные отношения (эмоциональное, интеллектуальное приятие), исходящие из обоснованного ожидания понимания и взаимоподдержки. Выражаются в обоюдном стремлении к общению, совместному времяпрепровождению, обмену помощью и услугами.

Настоящая дружба, т. е. непосредственная, наивная, не отягощенная *опосредствованиями*: расчета, критической оценки, карьерных, статусных соображений, политико-идеологических пристрастий, семейных обязательств, только и возможна в своем "чистом" виде для формирующегося, становящегося, молодого

сознания. Как правило, это период социализации, инкультурации, освоения профессиональных навыков.

Это возраст до жизненного среднерубежья. Сама незрелость сознания, пластичность идеалов, систем оценок и жизненных целей, делает его гораздо более терпимым, менее разборчивым и требовательным. Что, кстати, во многом подтверждается двумя обстоятельствами: *во-первых*, многих друзей мы теряем по мере взросления – теряем в прежнем качестве взаимопонимания, общности помыслов и интересов (собственно они остаются и милы нам, но скорее ностальгически); и *во-вторых*, новых, "настоящих" в прежнем, подростково-юношеском смысле, мы практически не обретаем. Дружба заменяется приятельством. Приятельство же, как приятенно-личностные отношения, обладают несравненно меньшей устойчивостью и взаимообязательностью, нежели дружба. Оно также не требует глубоких личностно-эмоциональных обнажений.

Как бы ни была крепка дружба до жизненного среднерубежья возрастные изменения психики и ригидизация сознания приводят к тому явлению, которое называемо обычно "охлаждением". Ранее мы живем более чувствами, эмоциями, чем разумом. Мы еще практически не разводим критику мира и критику себя. Ну а о доверчивости и говорить не стоит – она представляется, по прошествии лет, вообще какой-то патологией. Которая каким-то непостижимым образом совмещалась с максимализмом, гиперкритицизмом – но, опять-таки, скорее поверхностным, "картонным", донкихотским.

Но именно такие, не побоюсь патетически воскликнуть "святые", сознания и способны к дружбе в общеизвестно-идеалистическом понимании. Ясно, что и дружба эта лакируется нашим ретроспективным, горестно вздыхающим вниманием – из нашего весьма прозаического, делового и ответственного "сегодня". Ясно, что были и там обиды, мелкие подлости, естественно сглаживающиеся нашим сегодняшним снисхождением, достаточно узнавшим обиды и подлости покрупнее. Главное и высокоценное – это наличие *действительной общности* сознаний. Конечно, эта общность была скорее явлением из *коллективистской серии* эмоциональной радости и слияния стандартизованных сознаний. Стандартизованных общим процессом социализации, профессионального роста, доверчивостью к идеологии, господствующим представлениям, общностью сияющих перспектив и буйства жизненных сил, совместностью возрастнo-брачных переживаний.

Общность это временная, кратковременная. Разрушается она с разрушением возрастнo-социальной стандартизованности сознаний, с переходом от коллективизма совместной социализации и инициации к партикуляризму частной, семейной жизни. Именно коллективизм молодости, где пышное цветение витальности органично сочетается с пластичной незрелостью, открытостью и готовностью верить молодого

сознания, является сущностной причиной той, вызывающей восхищение, панегирики и последующие романтические воспоминания, дружбы, называемой "истинной" или "настоящей".

Таким высоким ценностным статусом и превосходными эпитетами наделяет дружбу этого периода человеческих биографий (совместное обучение, служба, профессиональная подготовка) достигаемое здесь высокое качество коммуникации. Доверчивость, открытость, идеалистичность и делают ее возможной. Разумеется, ретроспективный рефлексивно-рациональный анализ показывает нам, что во многом это была иллюзия общности и глубины взаимопонимания. А таковой на самом деле возможно и не было. Однако не это важно.

Важно, что нам *тогда* это представлялось, казалось таковым. И эти высокосмысловые переживания не могут порушить никакие последующие глубокомысленные рассуждения. Известно также, что между иллюзией и так называемой "реальностью" субъективности индивидуального сознания границы весьма зыбки и подвижны. Это было тогда нашей реальностью – реальностью столь же бесспорной, каковой является и наличествующая на сей момент.

Глубинное противоречие здесь выявляемо все же лишь ретроспективно. Здесь есть коммуникация, взаимопонимающее общение – но нет суверенного самоформирующегося сознания. Наличие одного есть отрицание другого. Понимающее общение с достаточно глубоким взаимопроникновением душ здесь возможно именно потому, что общающиеся сознания *укоренены в общем смысловом пространстве* (идеологическом, общепрофессиональном, конфессиональном, субкультурном и т.п.) Даже наиболее критические от природы сознания настроены здесь на одну смысловую, ценностную волну.

Проще говоря, они взаиморазделяют общие убеждения, верят в одни постулаты, считают значимыми одни ценности. Индивидуализация тут – в рамках общего идеологического, профессионального или субкультурного "типа". Общность здесь устанавливается, "лепится" профессиональной субкультурой, усваивается, становится "органически-внутренним".

Почему истаивает прежнее качество юношеской дружбы, а в общении с так называемыми "приятелями" устанавливается какой-то взаимонастороженный, рационализированный ритуал? Причины, вероятно, в следующем. Во-первых, в переходе от режима равностатусной, профессиональной и ценностной, общности открытых и доверчивых сознаний к режиму иерархизованных функциональных коллективов и партикулярной семейной жизни. Во-вторых, идеалистичность и витально обусловленное доминирование в спектре жизненных ощущений оптимизма сменяются утилитаризмом и маловерием. Лишь равно мощные, равноуверенные в своих блестящих

перспективах, *"молодые боги"* – способны к настоящей дружбе. Способны ли к этому усталые и затюканные жизненной текучкой, надрывааемые бременем ответственности, *"функциональные единицы"*, которые изверились и в свои силы, и в какие-то вообще идеалистические цели? Вряд ли.

Вот говорят: время, семейные обязанности, социальные реалии исчервливают старую дружбу. Но это скорее благовидные предлоги, утешения, придуманные одними и с облегчением воспринятые другими. Радикально меняется сознание людей. И бессмысленно тут как-то оценивать: к хорошему это или к плохому. Не следует забывать, что *"молодые боги"* помимо своих богоподобных качеств оптимизма, веры и полноты жизненных сил обладали и изнанкой: инфантильности, безответственности, стандартизованности и удручающей легковёрности.

И *"функциональные единицы"* – не только взрослые зануды, реализм и рационализм которых часто под корень подрубает их же жизненные перспективы возможного действительного и сильного *"рывка"*. Это ведь и *"договорившиеся"* – негласно, неформально, с полунамека – поделить имеющийся пирог жизненных благ между такими же, как они: солидными, знающими правила игры, ответственно-рациональными товарищами. Они более ничего не могут и не хотят мочь, но они – преуспевающие, хозяева жизни, цепко держащиеся за свои места и иллюзии-имиджи, ревниво осматривающие свою жизненную территорию. Они – счастливы, в своем большинстве и в большей части своих сознательных состояний. Они самодовольны и лишь иногда защемиет у них сердце с тоской о бесшабашном идеалисте и его верных друзьях.

В отношении половой любви можно сказать: где есть пол – нет духа. Все есть: вселенная эмоций, страстей, удовольствия и боли, сложнейшая гамма состояний от растопляющей неги нежности и радости до яростно пульсирующей, помутняющей разум завесы обиды, ненависти. Любовь и есть сама жизнь в ее обнаженности, ее психоэмоциональная сердцевина, сретение. Конечно, речь идет о тех, кто нашел, встретил любовь. Кто вошел в этот профиль антропологического бытия.

Естественно, для *"чистоты эксперимента"* следует взять самые удачные варианты любви, где между партнерами складываются стабильное, органичное, взаимопроникающее взаимодействие. Мало кто будет отрицать наличие глубочайшего взаимопонимания, взаимонуждаемости, почти совершенного знания любящими друг друга: характеров, привычек, ожидаемых реакций, особенностей мышления и психики. Половины ли одного целого? Да. Приводит ли распад этого целого (по любым причинам) к жесточайшему, невосполнимому никогда и ничем, *"тектоническому"* жизненному излому? Бесспорно.

Но есть ли в любви общение "чистых сознаний"? Нет, и в этом нет абсолютно никакой нужды. Ничего, кроме возможного вреда. Достаточно распространена весьма простенькая схема, популярно толкующая некоторые гипотетические ступени или градации любви по степени взаимопроникновения-взаимодействия любящих. Первая – физическая любовь, когда партнеров возбуждает внешняя привлекательность, физические достоинства. Эксплуатация последних является конечной целью любви сексуальной. Многие останавливаются навсегда на этой ступени. Партнер здесь абсолютно заменим и заместим "любим другим", удовлетворяющим по физическим параметрам.

Вторая – психоэмоциональная любовь. Людей притягивает друг к другу не только физическая привлекательность и взаимная сексуальная совместимость. Партнеры узнают и очаровываются душевным своеобразием друг друга, любят сильные и слабые (умилительные) черты характеров друг друга. Так и появляется то психоэмоциональное единство любящих, когда взаимодействуют и взаимонастраиваются психики людей.

И предполагается третья градация любви: духовная. Здесь, полагают некоторые философы и психологи, возникает взаимодействие и синтез "духовных миров", чистых сознаний. Это как бы апофеоз любви.

Вот это, полагаю, пример мифотворчества. Творят этот миф либо не ценящие чувственность, либо теологизирующие любовь философы. Большинство же интеллектуалов индифферентно принимают этот миф. Действительно, если будешь возражать, то прослывешь лично страдающим тяжелой формой духовной идиосинкразии (неспособности к слиянию сознаниями с половым партнером) и профанирующим "духовность" любви в диссонанс неумолимым вдохновенно-патетическим хорам.

К тому же миф этот полезен с воспитательной точки зрения: дисциплинирует молодых людей, заставляет их усовеститься только физиологической вакханалии, напряженно искать в себе слияния и духовных сущностей.

Между тем, это абсолютно надуманный "довесок" к тому самодостаточному, что вообще и *не нуждается* в нем. Более того, он излишен. Единение полов – это реализация биологической, антропологической полноты человека. Без половой любви человек ущербен, т.к. неполон – не состыковал с антропологически-имманентным партнером свои физиологические, психоэмоциональные функции своего тела и психики. Ведь само исполнение последних требует совмещения, со-ответа. Поэтому абсолютно истинна блестящая концептуализация этого обстоятельства в Библии: "Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут двое одна плоть" (Быт.2.24).

Вероятно, что на протяжении долгих веков это и могло быть верным – в отсутствии радикальной персонализации на массовом уровне, когда понятия "духа", "сознания" практически были тождественны по своему реальному содержанию понятиям "души", "психики". Мировоззрения были типизованны и идентичны друг другу, какие могли быть проблемы в слиянии "душ", если речь шла о психоэмоциональном единении? Знать и любить друг друга означало изучить, принять, притерпеться к психологическим особенностям другого и быть уверенным в подобном же приятии со стороны партнера. Об этом говорит народная мудрость самых разных народов – житейско-притчевая концептуализация поведенческого опыта.

Бесспорно и то, что были и есть неординарные люди, как в элитах, так и в простом народе. Они стихийно ли, сознательно ли – но всегда пускаются в "самостоятельное плавание" самоопределения. Но как раз-то и у них могли быть, и несомненно возникали, проблемы в любви – в случае если они действительно имели глупость добиваться (а по сути дела навязывать) у любимых чего-то сверх естественно-антропологического: физиологической и глубокой психоэмоциональной совместимости. Особенно всегда склонно к этому мужское трансцендирующее мышление, непременно продуцирующее идеал женщины и устраивающее психологический террор, идеологически (в рыцарских романах, эпосе, романтических произведениях, философских эссе) принуждая женщин стремиться мимикрировать хотя бы отчасти под него. Ничего хорошего, кроме издерганности, маеты, тотального непонимания из этого не могло выйти. Дело кончалось, как правило, трагично: либо для женщин (Байрон, Печорин), либо для мужчин ("Страдания молодого Вертера"), либо для обеих антропологических половинок.

Проще говоря, интеллектуальная жизнь самосознания и половая любовь – явления разнопорядковые и несовместимые. Пол, любовь – суть антропологической гармонии, возможного и счастливейшего единства тел и психик. Это действительно естественное человеческое счастье, видовое счастье. Интенсивная самостоятельная интеллектуальная жизнь – явление противоестественное для большинства вида – вплоть до недавнего времени. За исключением всегда немногочисленной духовной элиты либо малой части простого народа (которых и считали всегда "чудиками", "белыми воронами") большинство жило и живет в режиме "типической индивидуализации", обретая свое индивидуальное своеобразие по какой-либо из общественных "матриц-типов".

Другими словами, "одухотворение" любви, приписывание ей несвойственных ей противоестественных параметров идет как "снизу" – через отождествление омассовленного сознания с "духом", равно как и "сверху" – через интеллектуализацию любви. Наверное, это потому происходит, что любовь действительно тотально захватывает



человеческий организм, его психику и, в том числе, особенно на первых порах, сознание.

Вероятно, этим объясняются попытки объявить любовь универсальным бытийным основанием: самородным и спонтанным. Но тогда речь должна идти уже не о половой любви – в противном случае мы имеем дело с явной и достаточно грубоватой антропологизацией сущего.

Здесь же ясно одно: половая любовь дает людям *восполнимость* – физиологическую, психологическую, душевную (если под таковой понимать эмоциональность). И для большинства людских сознаний этого более чем достаточно. Но гиперболизировать любовь до метафизического уровня – означает лишь сакрализировать ее. И из подобного получается мало что хорошего: когда та часть людей, которая способна к самоформатированию своего "я", стремится сделать любовь одним из основных способов своего самоутверждения – требуя того же от своих любимых.

Никаких прав оно на это не имеет: любимого любят за то, что он есть, а не за то, что от него ожидают и во что стремятся переделать. Если начинается активное вмешательство в основополагающую, личнообразующую сферу – начинается борьба, борьба за свободу, контроль, подчинение. Победа одной из сторон, без существенного компромисса со стороны и "победителя" оборачивается катастрофой для любви. Она превращается в помыкательство и унижение обеих. Свобода и любовь – явления одного порядка.

Главное даже не в этом. Как самосознание может себя "презентовать" другому, если оно и само себе-то толком не может в большинстве случаев ясно и однозначно дать отчет: "Что оно? Кто оно?"

Духовная самоидентификация в отличие от физического самовосприятия носит очень условный характер. Она малоотчетлива, трудноопределима для сознания. Можно сказать, что она всегда нестабильна, переменчива. Будучи "схвачена" и как-то определена в словах, она, во-первых, не может не иметь всегда частичного характера, описывая скорее некоторые из возможных состояний жизни этого-вот сознания. Во-вторых, имеет всегда "размытый", неоконтуренный вид. Перед собой же самосознание не может врать: анализируя себя нельзя быть ни в чем уверенным, т.к. внутренняя полифония значимостей на каждое внутреннее утверждение содержит его же и отрицание, уточнение, дополнение.

Самосознание настолько переливчато в своей многозначности, что оно всегда есть "что угодно", только не четкая определенность. Исключая, конечно, примитивных, ригидных людей – но у тех и мысли не возникнет о духовном общении. Если вас будут уверять в обратном: дескать, духовный мир личности имеет четкие и ясные

измерения – не верьте. Сама способность к критическому анализу себя, способность "ставить себя под вопрос" есть начало вечного поиска, постоянного сомнения, которое никогда, увы, не разрешится, хотя и может иметь кратковременные периоды прояснения.

И что же может предложить другому-любящему такое самосознание? Оно и себя-то не в состоянии понять, так, где уж другого? Можно знать психологию, душевные качества любимого, но знать его дух невозможно. И это к лучшему. Любовь по своему бытийному исполнению *конкретна*: любят любимые черты лица, фигуры, тела, эмоциональное своеобразие, эти-вот качества характера. И невозможно любить аморфное, нечеткое, некую размытую, постоянно становящуюся, очень непостоянную идеальную субстанцию – дух, "я", самосознание.

Конечно, любимые знают, что ценно, дорого, значимо для их милого друга. Естественно, они будут также потакать и высказывать уважение этому "значимому", чтобы это ни было. Но никогда они не смогут так же страстно стремиться и любить "это значимое" (в сознании своего любимого), как сам автор. А значит – не могут понять, самоидентифицироваться с "этим значимым". Более того, если бы "это значимое" не имело идеальный характер, оно было бы явным объектом ревности.

"Но что он все о половой любви?" – подумает иной читатель, - "есть ведь и любовь духовная: к Богу, идеалам, Родине наконец. Вот здесь пусть и ищет столь любезную его сердцу "понимающую коммуникацию" и чувство собственной уместности в мироздании".

Однако, увы, отсутствует само данное явление как "духовное явление" – в его *межсубъектном* качестве. Сама "духовная любовь" есть – но исключительно как состояние индивидуального сознания, способного к саморасщеплению, самоудвоению, автокоммуникации со своей же, более лучшей и чистой стороной души, сознания – в виде общечеловеческих идеалов или "Бога". Можно только восхищаться гигантскому творческому потенциалу, творящей мощи некоторых личностей (типа А. Августина, П. Абеляра, М. Экхарта, протопopa Авакуума, М. Лютера, Л.Н. Толстого, Ж. Маритена и мн. др.), созидających в своих душах Абсолют и очищающих свои души от их собственной же скверны.

В своих исповедях эти гении дают саму "матрицу" понимающей коммуникации, коммуникации высшего порядка. Но это всегда автокоммуникация, автодиалог. Конечно, для них дело обстоит обратным образом: Бог прорывается в их душу и их сознание находит в себе силы самораскрытия и способно пережить радость трансцензуса, в котором некоторое сверхсознание способно вобрать в себя ищущее, жаждущее понимания маленькое "я".

Однако, по сути, с тем же основанием, мы можем говорить и о том, что эти индивидуальные сознания с богатейшим воображением

способны создавать "бога" в своей же душе и испытывать переживания торжественной радости, катарсиса, ощущая присутствие этого "другого" в себе, рядом. Фейербах, описывая процесс религиозного отчуждения, раскрыл механизм порождения значений "бога" в мощном, продуктивно-богатом образами и понятиями, религиозно-рефлексивном сознании.

Речь идет, таким образом, не о массовом, тиражном сознании, а о рефлексивном сознании, способном к критическому воззрению на традиционно-культурные значимости. Заглянув внутрь своего сознания, "гадюшник" эмпирически-повседневного человека, они ужасаются, табуируют негативное в своей душе, объявляя его "территорией зла, дьявола, искуса".

Во вполне обоснованном противостоянии и борьбе против собственного теневого начала они духовно-спонтанно создают себе в себе твердыню – значения Абсолюта, Истины. Вера в их фундаментальность, непререкаемость и всеобщность превращается из философской в религиозную, когда самосознание осваивает по своей модели ("его-осваивает") сферу абсолютного: Абсолют становится "Сверх-я", Личностью. Сама жажда понимания становится Абсолютным Пониманием.

Но так или иначе подобный род коммуникации благотельно раскрывает все нюансы, все глубины самосознания, самообнажает его. И дает к тому же человеческой душе то, что она никогда не может достигнуть в реальном межсубъектном общении с близкими, друзьями. Почему? Здесь самоудвоение выполняет функцию наркотика, *внешнего подстегивания* ("внешнее" внутри "я"): снимает всевозможные запреты, боязнь, скованность, стыдливость, раскрепощает сознание. И этот эффект освобождения порождает катарсис, целый комплекс эмоций, преобразующих человеческое сознание, дающих ему чувство обновления, когда с души и мира смываются грязь повседневности, копоть измельчания существования.

Что не может не впечатлять. Но многие забывают при этом, что читая исповедальные религиозные документы, мы следим за фонтанированием смысловых гейзеров воображения, творческой вулканической деятельностью. Она также спонтанна и неконтролируема, хотя и имеет свои естественные законы. В данном случае конфессиональные установления, символы веры, основополагающие смыслы религиозной концепции бытия.

Приглядимся внимательно к этим исповедальным документам "духовной любви", "высшей коммуникации". Страсть есть, самообнажение есть, есть и катарсис и религиозная трансформация сознания. Но нет самой коммуникации, кроме как общения с собой. Есть признание в любви к Богу, есть вопросы к нему, есть

славословия-восхищения либо укоры в его адрес, есть интерпретации смыслов его молчания – но нет самого участника диалога.

Полнота самораскрытия здесь декоративная и условная – игра с самим собой, проговаривание внутри себя в самонадеянности выражения Другого. Полнота условная – экстремализация светлого начала и сопутствующее снижение критического отношения к себе и к тому, что идет от меня. Это духовное опьянение – та же модель: подъем сил, ощущения того, что все можно сделать, горы свернуть. Но за опьянением следует неизбежное похмелье, плата за экстремализацию позитивного – самоуничужение, самобичевание, сгущение беспросветности существования. Об этом говорили те же Августин и Толстой: о следующих непременно друг за другом мигах воспарения и отчаяния. Чем, собственно, не *метафизический алкоголизм*? И здесь, в так называемой "метафизической коммуникации", "духовной любви" самосознание этого типа людей оказывается на самом деле одиноким и несчастным (что часто остается "за кадром"). Метафизическое похмелье, моменты психологического перехода к прозе жизни, "неуместным" философским вопрошаниям об обоснованности самих постулатов веры, пережили, судя по всему, все эти мощные религиозные сознания. Только одни оставили их зафиксированными в источниках, памяти современников – другие нет.

"Отчаяние" Кьеркегора родилось, думаю, не только из хладного философствования. "Как мог Бог создать такое несчастное и разорванное существо?" – вопрошал в ситуации жизненного спада Макс Шелер. Тот самый, кто вообще провозгласил человеческое сознание местом онтологического становления Бога, высшей формой сублимации мировых порыва и духа.

О подобном писал Ф.М. Достоевский Наталье Фонвизиной в феврале 1854 года: "Я дитя века, века неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим ..."

Вполне понятно, что подобные минуты "духовной любви", подъема сил – состояния всегда ограниченные и временные. И полнота их весьма ограничена – это все то же духовное опьянение некоторой идеалистической манерной игрой (манерной – для отстраненного наблюдателя, разумеется, не для самих подобных страстных религиозных натур). Но игра эта (как, впрочем, и всякая игра) условна. Условия же ее прозаичны. Явственна и достаточно бесспорна связь "звездных" моментов духа с физиологическим подъемом жизненных сил организма. Краткие минуты "духовной

любви и понимания" оказываются, и это не может не унижать дух, связанными с органическими циклами.

Также важным условием "океанического чувства" (духовного единения со всей вселенной) является, как это ни странно, изоляция от людей, от текучки повседневности. Любить людей и Бога оказывается хорошо в одиночестве. Вне общения с реальными, прозаичными индивидами. И чем меньше контактов, реальной коммуникации, тем большей оказывается любовь и то, что представляется "пониманием". Но это – до возвращения в толчею повседневности, до возобновления контактов с окружением. Оказывается "мировая Любовь", "понимающая коммуникация" лучше всего существует только в идеалистических условиях представляющего "все это" сознания, находящегося к тому же в благодетельной самоизоляции. Очень уж все это напоминает сублимированный нарциссизм: наслаждение "собой-хорошим" – духовно-объективированным как в виде "состояний" (духовная любовь, коммуникация), так и "присутствия другого" (Бога, высшей силы и пр.)

Может быть лучше, хотя тяжелее и прозаичнее, путь самопознания без "*внутреннего*" *транцендирования*? Путь внутреннего разбирательства в рациональной обстановке, без использования аутопсихотропных средств – духовных сущностей (абсолютов), которые взвинчивают дух, снижая одновременно его критические способности? Путь самокопания, выявления внутренних заторов и завалов, причины внутренней "зжатости"? Разбираться с собой гораздо утомительнее, нуднее, горше.

Более безопасно и отрадно зафиксироваться у себя же (на территории индивидуального духа) в сакрализованном виде "Лучшего", устроив здесь *убежище и святыню*. Гнать и презирать потом другую свою часть самосознания. Превращать автодиалог в "метафизическую коммуникацию" и "мировую любовь".

Так или иначе, но мы убедились: в социально-нормальной ситуации нет и не может быть сущностной, т. е. глубокой и репрезентативной коммуникации. Большинству людей она попросту не нужна и не ведома – в силу либо боязни узнавания себя, либо неумения и нежелания критического самопознания, тем более передачи этой информации другим, даже любимым существам.

Еще в большей степени, но уже по другим основаниям, одиноко идеалистическое сознание, решившееся на авторское самоустроение. Сознание, родившись во второй раз – *уже, и навсегда, инородно*, не укоренено в своей прежне-родной, естественно-антропологической среде. Оно развивается уже в другом измерении, на другой территории – территории духа. У него уже свои законы, своя среда. Все прежнее невозвратно теряет смысл, девальвируется, остается позади.

Что творится в душе человека – мало кто даже догадывается. И это хорошо. Иначе жизнь людей, особенно нестандартного меньшинства, превратилась бы в кошмар непонимания. Этикет, идеология переместились бы во "внутренний план" – человечество превратилось бы либо в одномерное, либо пришлось бы создавать архисложные новые системы коммуникации и языка. Это, к примеру, если бы телепатия стала нормой людского взаимодействия. Вот тогда бы мог действительно произойти настоящий геноцид всего мало-мальски отклоняющегося от нормы.

Пока, к счастью, это нам не грозит, и меньшинство успешно скрывается за благодетельной личиной бытовой и социальной нормы. В бытовом, поведенческом выражении идеалист остается тем же, что и был ранее. И люди оставляют его в покое.

Метафизическое одиночество идеалистического сознания – его доля и участь, основание его свободы. Одиночество массовидного человека – исключение, несчастье, неумение общаться, ошибка. Собственно понимание как возможный резонанс сознаний и возникает в типизованной духовной среде (что мы уже отмечали при анализе ранневозрастной дружбы). Лишь подобное может совпасть с подобным – даже при всем имеющемся различии в нюансах, деталях. Современное массовое индивидуальное сознание – противоречивый итог конвейерной индивидуализации. Конвейер – индивидуалистски ориентированная культура с ее акцентированными ценностями новизны, нестандартности, оригинальности, значительности, яркости, успеха, единственности и неповторимости. Это – главная сборочная линия, этапы которой: школа, профессиональное образование, брачные испытания, семейная и социально-ролевая обработка.

На выходе же имеет место типическая индивидуальность, функциональная единица, прошедшая все этапы обработки и прочно идентифицирующая себя с, казалось бы, индивидуалистскими ценностями. "Казалось бы" – оговорка, указывающая на то, что и индивидуализм превращается здесь в худшего вида коллективизм. Здесь многие подражают некоей "личности как таковой", чей многоликий, но хорошо просчитываемый образ воплощают разные формы масс-культуры. В ассортименте: супермен, просто хороший парень, милый чудака, не от мира сего гений, рационалист и мн. др.

Также возникает общесмысловая среда, где успех коммуникации зависит от степени слиянности, самоидентификации с ней отдельного сознания. Успех общения с другими зависит только от того, насколько ты похож на других – в том числе и в стремлении быть неповторимым – и насколько это допустимо и в каких престижных формах. Понять тебя другой здесь может в той мере, в какой ты меньше самобытен, имеешь свою сугубо внутреннюю биографию, насколько для тебя родны смыслы большинства (в том числе и интеллектуального).

Соответственно, одиночество, чувство неукорененности действительно указывают на просчеты, неумение "входить в резонанс". Типическая индивидуальность искренне разделяет массовые стандарты, но не всегда умеет продемонстрировать свою преданность им: я такой же, как вы, в то же верю, то же люблю – я свой. Непонимание в этих случаях есть страдательное, негативное состояние. Ведь интенсивное общение – индикатор нужности другим, жизненного успеха.

Иное дело, когда мы имеем дело с сознанием, сделавшим внутреннее сомнение, критические размышления в отношении себя и людей формой своего существования. Качественный индивидуализм вообще радикализует духовную отличность. Причем может быть и отличия-то особого нет, но есть *развитое чувство отличия*. Для него воспринять коммуникацию как движение самонараспашку к другому "я" – есть отказ от себя. Эмоциональная личина, психологическое своеобразие раскрываются близким и друзьям, но дух должен быть одинок. Одиночество – его имманентная основа, основа свободы и суверенности. Передача себя другому сознанию попросту опасна для самостоятельности духа, нарушение "техники безопасности" его существования. Подвергнувшись передаче, своеобразие становится "одним из", а индивидуальность тиражируется. *Метафизическая гордыня* поэтому – самозащита самосознания, проявление духовного инстинкта самосохранения.

Причем надо иметь в виду, что метафизическая гордыня не означает вообще отказа от духовной коммуникации. Без нее нельзя, это бытийная среда самосознания. Ведь сознание есть всегда знание в соучастии (со-знание). Однако соучастие не живое, субъектное, физически-контактное, а метафизическое соучастие. Настоящая, подлинная коммуникация в сфере духа может быть только само моделируемой, фантазийной. Индивидуальное самосознание активно духовно вбирает в себя значимое для него и любимое – из доступной ему общечеловеческой культуры. Общение идет именно *на территории индивидуального духа* с такими же гордо парящими духами, которые есть поняты и приняты им (хотя, по сути дела, скорее "смоделированные" творческим воображением).

Это, конечно, метафоры. Но, тем не менее, дела обстоят именно так. Идеалистическое самосознание радикально интровертируется, самососредотачивается, самофокусируется, быстро и резко теряя прежние связи и отношения. Исключая все же близкородственные и семейные: близкие и любимые любят человека, а не сознание. Причем происходит такое интровертирование во многом даже часто и неосознанно. Человек вовсе не ставит себе целью так сказать "воспарить" в метафизической гордыне. Все происходит само собой – неожиданно и даже на первых порах болезненно для его самого. Вдруг неожиданно оказывается: вокруг уже нет друзей,

единомышленников. Они, конечно, остаются, но они уже не друзья, единомышленники в аутентичном, прежнем смысле слова – ибо прежнее "я", самосознание осталось в прошлом. Никто "не рвет" связи, не отгораживается друг от друга. Происходит интровертирование буднично, но безжалостно, незаметно, исподволь.

Друзья, единомышленники становятся транспарентными, т. е. прозрачными, предсказуемыми и утомительно скучными. Их реакции и мысли известны на несколько шагов вперед, их взгляды в своей глубинной основе уже застыли и неизменны. Естественно, что хотя деликатность никогда не позволит показать явно неподобающим образом подобную скуку, однако прежняя эмоциональная близость непрощено подсказывает друзьям: "он изменился, стал другим, мы ему не интересны". И, конечно, возникают "немотивированные" обиды и охлаждения. Так и происходит заключение самосознания в "одиночку" метафизической гордыни.

Но это, опять-таки, метафора. Взгляд со стороны, с естественно-социальной точки зрения. На самом же деле нет никакого одиночества, хотя и есть метафизическая гордыня. Последнее – не гордыня в традиционно-антииндивидуалистском смысле: нарциссизм, презрение к толпе, самомнение, самообольщение, чванство, бахвальство и пр. Напротив, это есть защитная реакция духа, горечь констатации, когда самосознание, всерьез увлекшись своими внутренними делами и проектами, неожиданно обнаруживает как свой иной уровень понимания жизни и иной уровень ценностей, так и отсутствие понимания в своем окружении. И более того, оно обоснованно предполагает: это невозвратно.

Что делать в таком случае? Впасть в отчаяние либо мимирию? В первом варианте самосознание ждет саморазъедание щелочью негативной, мазохистской рефлексии. Второй – бесполезен, ибо рано или поздно все равно "выведут на чистую воду". Отсюда метафизическая гордыня – духовно-естественная реакция самосознания, стремящаяся себя сохранить.

Итак, нет никакого одиночества. Напротив, имеет место быть интенсивнейшая коммуникация в сфере духа. И она всегда есть, просто ранее самосознание не знало "куда смотреть" и как переключать свое внимание с привязанности окружающей, только внешне-фактуальной событийной канвы, на параллельное смысловое измерение. И вот это уже не метафора, а дело мыслительной практики и упражнений. Люди научаются везде видеть, вычерпывать серьезные смыслы. И вовсе не только предуготовлено к ним: обращаясь к философским, научным трудам, так называемым "серьезным" жанрам искусства. Везде и всегда. Сознание превращается в чуткий к смыслам, открытый "резонатор". Оно схватывает, обнаруживает серьезные и глубокие смыслы в любых слоях окружающей его информационной реальности: и в реплике,



брошенной в общественном транспорте, и в строчках текста модного шлягера, и в голливудских поделках. Конечно, тоже – в отношении и классических кладезей смыслов.

Коммуникационным полем оказывается практически *вся трансцендентальная область*, т. е. доступное нашему сознанию (= наша человеческая реальность). Как первобытный человек одушевлял окружающую его природу, так современное рефлексивное сознание субъективизирует, *авторизует* мир мысли, знаний и нравственности. Понимание вспыхивает озарением, прозрением в самых разных жизненных ситуациях. Можно читать многостраничные фолианты, философские трактаты и научные исследования, с трудом продираясь сквозь дебри специализированного жаргона, скудно нанизывая мысль на мысль. Но можно и "схватить" эти же мысли в кратчайшей, простейшей форме – в обиходе, обыденном окружении. Хотя эта простота кажущаяся и есть скорее итог предварительной работы сознания и его созревание до гениальности простоты.

Так или иначе, но подготовленное длительным интеллектуальным тренажем сознание, умеющее видеть смыслы, вычерпывать их из окружающей среды, не испытывает коммуникационных проблем. За каждым интересным смыслом: мыслью, чувством стоит его автор. И даже не зная его чувственно-лично и, как правило, никогда не имея перспектив узнать (заочное общение: книги, искусство, масс-медиа), мы испытываем радость понимания. Достижимый резонанс мыслей, чувств, мироощущений с этим сознанием духовно сближает, делает нас действительными агентами взаимопонимающей метафизической коммуникации. Ведь презентуя себя себе, творящий дух непременно общается – со своим идеальным другим, тем, кто понимает. Неважно, чей образ предстает пред мысленным взором в этот момент: реального человека или вымышленного (литературного, исторического, из видеоряда). Поэтому радость понимания здесь является абсолютным критерием заочного совпадения, в некотором существенном смысле, двух суверенных сознаний. Преимущества, благодетельность заочной метафизической коммуникации очевидны. Нет никаких угроз свободе одного из них (из-за возможной разности в степени подготовленности, самовооруженности интеллекта). Нет никаких взаимных обязательств, а истинно искреннее взаимное удовлетворение. Автор знает о том, что то, что он выражает – непременно загорится пониманием и явным экзистенциальным приобретением для равного ему духа. Так же и сам, выступая в роли потребителя, он ожидает, жаждет радости встречи с новым, неожиданным, красивым смыслом: будь-то от уже хорошо знакомого духа или от незнакомца.

Итак, поведенческое, социальное одиночество сознания, обращенного к себе, оборачивается, на самом деле, высокой интенсивностью общения с себе подобными духами в

трансцендентальной сфере: саморепрезентация себя в творчестве. Общение это заочно, что очень хорошо, т.к. сохраняет в неприкосновенности суверенность сознания, обогащая его при этом нужными для него смыслами.

Видимая неукорененность, неприкаянность есть метафизическое, т.е. экзистенциально и мировоззренчески утверждаемое кредо "позиции самоизоляции, гордыни". Однако гордыня эта, во многом является самозащитной реакцией на отторжение либо подспудное выдавливание со стороны естественно-социальной среды.

Неприкаянность в естественно-социальной среде – довольно-таки тяжелая ноша и плата за переход на другой уровень существования. Но неприкаянность же есть и стартовая позиция к подлинной духовной коммуникации в трансцендентальной сфере – с такими же одинокими, но *человеческими*, не сверхъестественными сознаниями.

*Март-апрель 1999*